

Лидия
ЧАРСКАЯ

*Повести
и рассказы*



Лидия Чарская

Мой принц

«Public Domain»

1915

Чарская Л. А.

Мой принц / Л. А. Чарская — «Public Domain», 1915

Я хочу сказать еще что-то и не могу... Мои мысли кружатся, как огненные птицы, и душа моя горит, как в огне. Смутные образы встают передо мною. Я не в силах оставаться в этих залах, меня влечет на воздух, за стены Смольного монастыря. Лечу как на крыльях, несусь по длинным коридорам, оставив в недоумении моих подруг. Беру извозчика и умоляю его скорее ехать на Фонтанку. Что-то толкает меня, что-то гонит вперед... Желание писать стихи, как бывало в дни юности и отрочества? Вылить в дневнике свои мысли на бумагу? Нет, это что-то другое, чему еще нет названия, нет имени, что совсем еще ново и непонятно для меня...

© Чарская Л. А., 1915

© Public Domain, 1915

Содержание

ГЛАВА 1	5
ГЛАВА 2	14
ГЛАВА 3	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Лидия Алексеевна Чарская

Мой принц

ГЛАВА 1

Длинный, длинный коридор, по обеим сторонам которого высокие, большие двери с надписями: «библиотека», «музыкальный класс», «репетиционная»... В самом конце, над дальней дверью, небольшой образ, здесь домовая церковь.

Осеннее солнце белыми зайчиками играет на квадратах паркета.

Я останавливаюсь у третьей двери направо, с небольшой вывеской: «канцелярия».

Там, за дверью, моя судьба.

Я похолодевшею рукою дотрагиваюсь до медной ручки. Когда дверь распахивается, я точно проваливаюсь в какую-то бездну.

«Ну, Лида Воронская-Чермилова, крепись! Ты сама жаждала этого, – повторяю я мысленно. – Никто не толкал тебя сюда. Собери же все твое мужество, вспомни, ради кого ты пришла завоевывать труднодостижимое, и крепись».

Но, как ни стараюсь я подбодрить себя, мои колени подгибаются, а руки дрожат.

Первое, что бросается мне в глаза, это большой письменный стол, перед ним широкое кресло. В кресле – господин в синем вицмундире, плотный, с тонко закрученными длинными усами и быстрым живым взглядом карих глаз. Совсем как институтский преподаватель.

И совершенно упустив из вида, что мне двадцатый год, я отвечаю незнакомому господину самый «непозволительно-низкий» реверанс, точно я какая-нибудь пятиклассница-институтка.

Затем, поняв свою ошибку, нелепо складываю руки «коробочкой», как это делают институтки, когда им приходится выслушивать выговор начальницы и инспектрисы, и молчу, вытаращив глаза на господина в синем вицмундире. А в голове невидимые молоточки стучат: «Кончено! Осрамилась! Совсем осрамилась на веки веков и бесповоротно. О, глупая, трижды глупая Лида!»

Вероятно, я представляю собою довольно комичное зрелище, потому что легкая улыбка появляется у господина в вицмундире. Он привстает со своего места и ободряюще говорит:

– Вы, вероятно, желаете быть допущены к конкурсному экзамену и подавали прошение? Ваши бумаги здесь?

– Да, – говорю я так, точно от моего ответа зависит жить или умереть, – я послала сюда прошение и бумаги.

– Ваша фамилия? – обращается он ко мне с вопросом, роясь в то же время в кипе бумаг на письменном столе.

– Лида Воронская, – выпаливаю я как-то уж слишком быстро и цепенею от ужаса.

Какая же я Лида, да еще Воронская, когда мое настоящее имя Лидия и уже второй год я больше не Воронская, а Чермилова!

Я хочу поправить свою ошибку и начинаю лепетать что-то.

Слава Богу! Господин в синем вицмундире ничего не замечает. Он ищет мое прошение среди вороха бумаг и не находит.

– Странно! Гм! Очень странно! – говорит он. – Прощения Лидии Воронской здесь нет.

– Ну, конечно! – отвечаю я, мгновенно приходя в себя. – У вас и не может быть прошения Лидии Воронской.

– То есть, что вы хотите этим сказать? Проницательные глаза его смотрят строго, почти сердито.

– Ах, извините, – роняю я безнадежно, – я... я... ошиблась... я... не Лида Воронская, а Лидия Чермилова... Воронская – это моя девичья фамилия. А я замужем.

– Замужем? – спрашивает удивленно «вицмундир». – Такая молоденькая и уже замужем! В лице его я вижу сомнение, правду ли я говорю.

Тогда я быстро начинаю объяснять ему, что мне скоро двадцать лет, что замужем я уже почти два года, что я мать шестимесячного мальчика и что решила работать для моего ребенка; хочу, во-первых, сама, своим трудом, поднять его на ноги, а во-вторых, хочу добиться славы, чтобы мой ребенок мог впоследствии гордиться своею матерью, и вот, по этим двум причинам, прошу зачислить меня на драматические курсы.

Я говорю, не останавливаясь ни на минуту. Видя, что господин в вицмундире слушает меня внимательно и не прерывает, я уже не могу удержаться и... начинаю, неизвестно зачем, описывать наружность «моего маленького принца», как я называю моего ребенка, рассказываю про его характер, про его привычки, словом, все то, что меня так забавляет и радует в нем.

Затем я объясняю моему слушателю, что мой муж офицер, что он уехал в Сибирь и ранее трех лет не вырвется оттуда, что мужа моего я называю «рыцарем Трумвилем», а он меня «Брундегильдой», что прежде жили мы в Царском Селе, в офицерском флигеле стрелкового батальона, что я свою квартиру называла «замком», что, кроме мужа, у меня отец и мачеха, которых я называю «Солнышко» и «мама-Нэлли», что именно у них я жила после отъезда мужа.

– Позвольте, позвольте! – смеясь, прерывает меня, «вицмундир». – Не знаю, какое все это имеет отношение к вашему прошению относительно допущения вас к экзаменам?

– О, близкое, очень близкое! – возражаю я, – ведь я решила оставить Солнышко и маму-Нэлли исключительно для того, чтобы поступить к вам на курсы. А поступить я желаю, во-первых, потому что я уже вам объяснила причину...

– Все это прекрасно, – осторожно прерывает он меня. – Я вижу, что у вас много темперамента, искренности. Для того дела, которому вы желаете посвятить себя, все это, конечно, весьма желательно, но самое важное – безграничная любовь к нему. Она, эта любовь, пожалуй, даже важнее таланта, способностей, и без нее не добиться намеченной цели...

Тут мой собеседник заговорил о театре, о сцене, о драматическом искусстве, о том, сколько усилий и работы требуется для того, чтобы стать артисткою.

– Вы сказали, что хотите работать ради вашего ребенка. Это, конечно похвально. Но, мне кажется, для этого вы выбрали не совсем подходящий путь... Чтобы посвятить себя сцене, искусству, нужно прежде всего любовь к нему... Скажите, задавали вы себе вопрос, достаточно ли у вас любви к искусству, чтобы преодолеть все те трудности, которые вас ожидают в будущем на поприще артистки?..

Минуту глаза господина в вицмундире смотрят в мои вопрошающим строгим взглядом, как будто желая угадать все, что происходит в моей душе.

– Люблю ли я искусство? – говорю я, точно разбуженная его словами, – да я его не только люблю, я его обожаю... Я убеждена, что это самое лучшее, что есть на земле... Ведь искусство – это правда и красота... Да, я, хочу стать артисткой, чтобы работать для моего ребенка, но вместе с тем я уже давно чувствую влечение к сцене, к театру.

– Вы никогда не выступали на сцене? – спросил он.

– Ах, нет, если не считать двух любительских спектаклей... Но с детства я упиваюсь отрывками трагедий, стихами... С детства чувствую призвание к сценическому искусству, хотя имею о нем пока лишь смутное понятие... И я... я живу мечтою о чем-то большом и красивом, что должно поднять меня на своих крыльях и унести от земли...

– Все это прекрасно, – замечает господин в вицмундире и смотрит на мою хрупкую, тоненькую, как у подростка-мальчугана, фигуру, – но вынесете ли вы, под силу ли вам будет

тот труд, под которым сгибались гораздо более крепкие спины? Путь, избранный вами, труден и тернист, а вы, в сущности, еще дитя и хрупкое дитя при этом...

– Любовь к моему ребенку меня поддержит, – говорю я пылко и убежденно.

– Но ваше здоровье? У вас такой слабый голос, и сама вы такая худенькая, слабенькая...

– Ради Бога, – лепечу я в волнении, все сильнее и сильнее охватывающем меня, – не обращайтесь внимание на это. Увидите, я все пересилю, я буду стараться, буду работать... примите только меня на ваши курсы, умоляю вас!

И я с мольбою складываю руки на груди. Лицо его делается совсем строгим.

– Это не от меня зависит, а от результата испытания, которому вы должны подвергнуться, – говорит он официальным голосом. – Вы говорите, ваша фамилия Чермилова, Лидия Чермилова. Да, ваши документы здесь у меня, – и, перелистывая их, вскользь замечает, – все в порядке. Вы кончили институт, аттестат здесь, и потому нет никаких препятствий к допущению вас к испытанию. Последнее же решающее слово принадлежит уже конференции.

– Ой!

Я снова проваливаюсь куда-то, и это «ой» звучит из глубины той бездны, куда скатилась сейчас моя испуганная душа. Это «ой» вызывает добродушную улыбку господина в вицмундире, и все лицо его, благодаря этой улыбке, становится снова милым и простым.

Через минуту он говорит опять строго и официально.

– Еще одно: вы замужем, а, по существующим правилам, без разрешения мужа вас принять нельзя будет, даже если вы выдержите испытания.

– Без разрешения мужа! – вскрикиваю я, забывшись. – Да разве он может запретить мне то, что я хочу? Он – «рыцарь Трумвиль»! Настоящий, всамделишный рыцарь!

Господин в вицмундире улыбается. Поняв всю несуразность вырвавшейся фразы, я заливаюсь мучительным румянцем.

– Впрочем, – добавляю я быстро, – разрешение у меня имеется... Я завтра же представлю его вам.

– В таком случае, вы можете явиться в субботу к экзамену, – говорит спокойно мой собеседник, делая какую-то пометку на моем прошении.

Я снова «окунаюсь» совсем уже по-институтски и с пылающими щеками выскакиваю за дверь.

Я уже успела спуститься до второй площадки широкой лестницы, когда сверху раздался голос выбежавшего за мною господина в вицмундире.

– Госпожа Чермилова, запомните, что экзаменационные испытания будут производиться в будущую субботу, в восемь часов вечера!

Я с трудом удерживаюсь, чтобы не осрамиться в десятый раз, и, поклонившись «как взрослая», так стремительно сбегая вниз по отлогим ступеням, что у подававшего мне пальто швейцара полное недоумение в глазах.

– Кто этот господин в вицмундире там наверху? – спрашиваю я, одеваясь в передней.

– Это инспектор драматических курсов при Императорском театральном училище Викентий Прокофьевич Пятницкий, – объясняет важно швейцар.

– А-а! – говорю я и выбегаю на улицу.

В душе моей целая буря... Надежда, сомнение, страх и отчаяние – все переплелось во мне. Я несусь по тротуару, не обращая внимание на прохожих. Какой-то старичок в цилиндре, которому я нечаянно наступила на ногу, отпускает что-то нелестное по адресу дурно воспитанной нынешней молодежи...

За углом встречаю разносчика с шарами... Красные, синие, желтые... И... тут мои мысли сразу сменяются другими, ничего общего не имеющими с предстоящим испытанием. «Который из этих шаров купить моему принцу?» – думаю я с минуту и покупаю три сразу: красный,

желтый и голубой, и бегу снова к моему милому маленькому сынишке, в мою квартирку в Кузнечном переулке...

Уже издали я вижу его в окне на руках кормилицы.

Машу шарами и кричу, забывшись, на всю улицу:

– Принц! Маленький принц! Это тебе! Это тебе!

У прохожих испуганные лица. Городовой начинает беспокоиться на своем посту.

Ах, какое мне до них всех, в сущности, дело! Сию минуту на свете нас только двое: я и мой маленький принц!

Я пересекаю двор и трезвоню у двери.

Улыбающаяся румяная кухарка Аня встречается меня:

– Ну, как? Благополучно ли, барыня?

Она только второй день служит у меня, но посвящена во все мои дела.

– Отлично! Прощение мое принято и в субботу экзамен! – кричу я и с шарами в руках несусь в детскую.

Вот он, моя прелесть, белокурый, кудрявый, светлоглазый, немного хрупкий, немного бледный и тонкий, – совсем как его юная мать. Смотрит на шары и улыбается.

О, прелесть моя!

Перебирая его пушистые кудерки и прижимая к груди это бесценное для меня тельце, я решаю:

«Радость моя! Для тебя одного я должна завоевать будущее, для тебя буду работать, буду стараться, чтобы ты мог вполне гордиться твоей маленькой мамой! Чтобы ты мог жить без лишений, радостно, весело и светло!»

Удастся ли мне это?

* * *

Вся следующая неделя проходит как в чад. Обе небольшие комнаты моей скромной квартирki оглашаются с утра до вечера то какими-то странными выкриками, то низкими-низкими нотами, то веселым детским лепетом.

И дикие крики, и тихий лепет, и низкие грудные ноты – все это мое. Это я для предстоящего экзамена декламирую бессмертную лермонтовскую поэму «Мцыри», повторяю басню Крылова «Ворона и Лисица». Мрачный, умирающий, юный, одинокий Мцыри, Лиса Патрикеевна, ротозейка ворона – все это чередуется одно с другим. Я быстро перевоплощаюсь из одного лица в другое. Так и надо. Необходимо даже. Путь, избранный мною, требует отречения от собственной личности, требует перевоплощений...

Меня могила не страшит,
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне...

Это говорит юный умирающий Мцыри.

Я вижу перед собой угрюмое бледное лицо, пламенные глаза, прекрасную, гордую голову, и в груди моей разливается огонь сочувствия, жалости безысходной тоски. Мне до боли жаль этого несчастного, одинокого Мцыри... Представляю в его положении себя... Жаль и себя, безумно жаль. Он, я – все смешивается... Ах, как грустно и как сладко! Какая-то волна поднимается со дна души и захлестывает меня. Накатила, подхватила и понесла. Голос мой крепнет и растет.

И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул...

Да, да, я вспоминаю и аул, и саклю... Мою саклю... Там растут прекрасные дикие кавказские розы и грозно шумит горный поток... Там я жила, там бегала и резвилась ребенком... Или это только кажется мне?

Плач моего маленького принца приводит меня в себя. Голова кормилицы Саши в красивом голубом повойнике просовывается в дверь.

– Барыня-касаточка, потише, пожалуйста, – Юреньку разбудишь.

Достаточно этих нескольких слов, и Мцыри исчезает мгновенно, а с ним и кавказские розы, и горный поток...

Я бегу к милой колыбельке, извлекаю из нее теплое, раскрасневшееся от сна крошечное существо, осыпаю его поцелуями и, смеясь, декламирую с ужимками, от которых Саша валится со смехом на кровать:

Вороне где-то Бог
Послал кусочек сыра...

Потом происходит торжественное облачение «принца», и мы выносим его на прогулку.

А вечером, после обычного купания моего Юрика, я, наглухо заперев дверь в детскую и опустив тяжелую портьеру, начинаю снова:

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит,
И смерть навеки заживит...

Тут Аня прерывает меня и рассказывает, что дворник утром, принеся дрова, спрашивал ее: «Что, у вас барыня-то молодая ровно как будто не в себе? Домовладелица на этот счет беспокоится... До белого утра в окне у вашей барыни свет, и лопочет она что-то и руками размахивает... Намедни под окном видел. Все ли у них тут дома?» И он будто бы многозначительно покрутил пальцами около собственного лба.

– Я ему сказала, – прибавляет Аня, – передай твоей хозяйке, что наша барыня к экзаменту готовится. А вас просим покорно за нами не подглядывать у окон, а то с квартиры съедем. Только и всего...

Вот он, наконец, настал страшный, решающий день!

Экзамен на драматических курсах назначен ровно в восемь часов.

О, как бесконечно тянется время! На улице дождь, слякоть, туман. В моей крохотной квартирке – уют, тепло и радость. Невинное люлюканье, и тихое воркованье моего «принценьки». И песни Саши, песни про удальца-коробейника, и про матушку Волгу, и про Хаз-Булата удалого...

Топится камин в углу, но я вся дрожу. И в рот не могу взять ни кусочка. Нет аппетита. Думаю только об экзамене. «Быть или не быть», – говорил когда-то Гамлет, принц датский, один из героев Шекспира. Если выдержу – впереди карьера, работа во имя моего Юрика, надежда впоследствии осуществить то, о чем я так мечтала, а может быть, кроме того, имя, слава. Провалюсь – впереди серое, будничное существование... Не хочу! Не хочу! Я должна

поднять на собственный заработок моего «принценьку»... Именно на собственный труд, заработок. Но вместе с тем хочу, надеюсь еще достичь славы, чтобы «принценька», мой мальчик светлокудрый, гордился своей матерью.

Ну, Брундегильда из замка Трумвиль, держись, моя милая, крепко!

Как-то неожиданно, незаметно подполз вечер.

Анюта убедила-таки меня проглотить две-три ложки супа и съесть куриную лапку. Она и Саша облекли меня в новое, модного тогда цвета морской воды платье. Отложной воротник открывает ребячески-тонкую шею. Волнистые, непокорные волосы по обыкновению рассыпаны. Глаза горят лихорадочно, как у кошки.

Но лицо...

Ну и личико же у будущей артистки! Цветом оно напоминает сейчас молодой салат, – так оно бледно-зелено от волнения. Щеки, лоб и кончик носа холодны как у покойника, точно я пробывала на леднике, по крайней мере, целые сутки.

Я целую сонную головку сынишки и подхожу к Саше.

– Саша, – говорю я кормилице моего сына, с которой успела за эти несколько месяцев подружиться, несмотря на разницу взглядов и положения, – Саша, у меня нет матери... Отец далеко, и я знаю, что хотя он согласился отпустить меня, но не сочувствует моему поступку. Перекрести меня ты... Благослови и пожелай счастья...

Она силится удержать волнение. И вдруг разражается слезами. Ревет так, точно я иду на плаху, готовлюсь к смерти.

– И на кой ляд экзаменты эти выдумывают! – причитает Саша, подперев щеку рукою. – Только зря ребенка мучат! Ишь, с личика даже спала за эти дни!

Несмотря на то, что ей самой только девятнадцать лет, она самым искренним образом считает меня «ребенком». Она в свои девятнадцать лет пережила слишком много: смерть мужа и собственной малютки-девочки, поступление в приют кормилиц. Бедная Саша!

Сейчас она искренно плачет надо мною. Ей жаль меня за те муки, которые я испытываю сейчас. Жаль и себя.

– Саша, не плачь, – говорю я, – а то я взволнуюсь и уже окончательно провалюсь на экзамене. Понимаешь ли? Лучше исполни мою просьбу, перекрести меня и поцелуй.

Она затихает мгновенно, поднимает правую руку к моему лбу и осеняет меня широким крестом.

– Храни тебя Господь моя лапушка.

В прихожей Анюта с вытаращенными от любопытства глазами шепчет:

– Дай Бог! В добрый час, барыня!

Выхожу на улицу, шатаюсь от волнения. Быстро перебегаю двор...

– Извозчик! На экзамен.

– Чаво?

– Двугривенный.

– Куда это? Слышь, не понял.

– Ах!

Из зеленой я делаюсь мгновенно багровой от смущения. Ну, можно ли быть такой рассеянной. Спешу исправить свою ошибку.

– На Театральную улицу, к зданию драматических курсов – двугривенный.

* * *

Я поднимаюсь по знакомой широкой лестнице.

В длинном коридоре пятого этажа, между церковью на одном конце и залом на другом, целая толпа людей обоего пола. Здесь и нарядные, роскошно одетые как на бал барышни

в полуоткрытых платьях и длинных перчатках до локтей, с вычурными прическами; здесь и скромно и бедно одетые фигурки в коричневых и черных платьицах, иные при черных фартучках, как гимназистки; здесь и женщины средних лет, здесь и молодые, и совсем еще юные девочки, лет пятнадцати и шестнадцати на вид. Мужчины – почти все молодые, с бритыми по-актерски или еще лишенными всякой растительности лицами. Некоторые из них в черных сюртуках, другие в простых ученических рубашках, опоясанных ремнем с пряжкой. У всех в руках книги или тетрадка. Все возбуждены, взволнованы, и в глазах затаенный страх, порой граничащий с отчаянием. Некоторые, однако, стараются скрыть свой страх и хотят показать, что они ничего не боятся.

Красавец-блондин шуруется на окружающую его молодежь и цедит сквозь зубы:

– Не понимаю, чего тут волноваться, право. Ну, срежешься – что ж из этого? Можно обойтись и без курсов. И потом, мудрено срезаться. Прорекламировать стихи и басню – не велика хитрость.

– Однако, – возражает ему худенькая маленькая брюнетка с лицом итальянского мальчугана, – конкурс чересчур велик: из ста конкурентов примут не больше двенадцати.

Только двенадцать!

Что-то падает в моей душе, и отчаяние темным потоком заливает сердце.

Трудно очутиться в числе двенадцати счастливых избранниц. Прощай, моя чарующая, моя радужная мечта!..

По коридору бежит полная, симпатичная молодая дама в синем платье, с пенсне на маленьком, чуть вздернутом носике.

– Это здешняя классная дама. Ее зовут Виктория Владимировна Ювен, – шепчет «итальяночка».

– Вот тебе раз! Классная дама! – басит длинный, худой, молодой человек, с оливково-смуглым лицом и черными, гладко причесанными волосами. – А как же мы-то, мужская половина? У нас, мужчин, разве тоже будет классная дама?

– Да, и мы тоже подпадем под ее начальство, если удостоимся поступления, – говорит приятным, мягким голосом его сосед, красивый юноша со странным выражением рассеянного лица.

Я смотрю в это лицо, и мне кажется, что вижу на нем ясно и четко печать таланта. «Этот будет принят вне всякого сомнения. Счастливцев!» – решает за меня кто-то посторонний в моей душе, и я ловлю себя на нехорошем чувстве: я завидую этому юноше, у которого на лице явно выражено дарование.

– Господа! – прерывает мои мысли запыхавшаяся классная дама, – пожалуйста все вниз на сцену. Члены конференции уже там и ждут вас. Только, господа, пожалуйста, потише.

Все устремляются в дальний конец коридора, следом за Викторией Владимировной Ювен. Там, рядом с церковной дверью – другая, ведущая на сцену, соединенную с верхним коридором «черною» лестницею. Вся толпа экзаменующихся теснится несколько минут у этой двери.

– Pardon, – я слышу тихий оклик справа и, скользнув взглядом по высокой фигуре девушки, одетой в скромное коричневое платье, замираю от неожиданности. Предо мною бледное до прозрачности, маленькое личико, с сине-зелеными, неестественно ярко горящими глазами под ровными дугами черных бровей. Непокорные черные волосы оттеняют копной это бледное лицо, милое, знакомое лицо...

– Ольга! Родная моя! Ты ли это?

– Лида Воронская! Милый Вороненочек!

Мы стоим друг перед другом, держимся за руки и смеемся.

– Какими судьбами, Оля?

– Лидуша, и ты? Экзаменуешься?

Это Ольга Елецкая, моя институтская подруга. Два года со дня выпуска мы не виделись с «Белым Лотосом», – как называли Олю в институте. Я успела за это время выйти замуж и получить от Бога мое ненаглядное сокровище – маленького принца. У Ольги, я слышала, умерла мать.

Мы видим в чертах друг друга уже отошедшие беззаботные отрочество и юность.

– Что твой отец? Мачеха? Что Большой Джон, о котором ты нам любила рассказывать? Братья? – роняет своим грудным голосом Ольга.

– Они все здоровы, – говорю я, – все живы и здоровы... кроме Большого Джона. Большой Джон утонул в Неве.

Ольга молчит подавленно. Она знала милого юношу, друга моей юности. Она видела его в институте, где он посещал меня и где перезнакомился со всеми моими товарками по классу.

– А у меня есть теперь маленький принц и еще рыцарь Трумвиль в далекой Сибири, – прибавляю я.

– Ты все та же неисправимая мечтательница и шалунья, какою была в институте, – говорит она с милой и грустной улыбкой. – Все у тебя принцы да рыцари... Догадываюсь: рыцарь – твой муж, а принц – ребенок. Ведь верно?... А вот я со дня смерти мамы так несчастна, милая Лида! Одно только искусство меня может воскресить.

Нас толкают немилосердно. Классная дама кричит:

– Mesdames, вы поговорите после. Будьте добры сойти вниз...

– Совсем как в институте, – шепчу я, пропуская Ольгу вперед.

– Заметь, и форма та же, что у наших классных дам.

Наш разговор прерывается громким приказом.

– Господа! На сцену!

Я спускаюсь об руку с Ольгой по лестнице и попадаю в какой-то коридор, снова поднимаюсь на четыре ступеньки и сразу оказываюсь на подмостках большой, совершенно пустой сцены, оцепленной двумя рядами стульев. Когда мы появляемся с Ольгой, большая часть стульев уже занята. Полненькая классная дама неумоимо хлопочет.

– Садитесь, господа. Занимайте места. Не задерживайте начальство.

Тут только я вспоминаю, что помимо сцены существует зрительный зал по ту сторону рампы. Поворачиваю туда голову и замираю. Десятки биноклей направлены на сцену. Оживленный говор, пестрота, нарядов сногшибательные шляпы с колышущимися на них перьями, подвижные бритые лица актеров и, наконец, первый ряд, занятый администрацией и «светилами» нашей образцовой сцены, – все это смешалось в моих глазах.

У меня закружилась голова и подкосились ноги.

Ольга подхватила меня за талию и усадила на стул.

– Можно ли волноваться таким образом! Ведь головы не снимут! – увещевает она меня.

– Лотос, – шепчу я ей на ухо по старой институтской привычке, – да ведь нам с тобой срезаться нельзя...

– Понятно!

– Значит, надо выдержать обязательно, – говорю я так громко, что соседка слева, оказавшаяся красавицей-блондинкой, развязно болтавшей наверху в коридоре, презрительно шурится на меня сквозь лорнет.

Звонок колокольчика дает новое направление моим мыслям.

Там, в зрительном зале, с одного из кресел поднимается знакомая уже мне фигура в синем вицмундире. Это инспектор драматических курсов Виталий Прокофьевич Пятницкий. В его руках большой листок – в нем помечены фамилии экзаменуемых.

– Господа! Милостивые государыни и милостивые государи! – говорит он твердым, точно чеканящим голосом. – Из ста желающих попасть в число учениц и учеников драматических курсов в этом году могут быть приняты не более одиннадцати человек, ибо имеется всего пять

мужских и шесть женских вакансий. Сейчас начнется экзамен. Так как на курсы принимаются исключительно лица, получившие среднее образование, то экзамен будет состоять, главным образом, в определении, есть ли у вас способности к сцене, к драматическому искусству. Но прошу помнить, что, помимо выразительности декламации и отчетливости, от вас требуется еще и громкий голос. И поэтому просим вас читать насколько возможно громко и четко. Говорящих слабым, тихим голосом заранее предупреждаю, мы не дослушаем до конца... А теперь, милостивые государыни и милостивые государи, мы приступим.

– Господи, как страшно! – прозвучал чей-то жалобный голосок позади меня.

Я живо оглянулась. Полненькая, румяная, с толстой русой косой и большими выпуклыми глазами, симпатичная девушка перекрестилась.

– Вы боитесь? – участливо спросила ее Ольга.

– Ужасно! – откровенно созналась она и широко, по-детски улыбнулась, обнаруживая ямочки на полных румяных щеках.

– Позвольте представиться – Маруся Алсуфьева, – с тою же милой улыбкой протянула она руку сначала Ольге, потом мне.

Опять звон колокольчика, переворачивающий «все нутро», как у нас говорилось в институте, и полная тишина воцарилась в маленьком школьном театре.

Экзамен начался.

ГЛАВА 2

Нас вызывают по алфавиту. Голос невидимого человека, должно быть, помощника инспектора, первой называет Амаданову.

Я бросаю взгляд за рампу. Сколько людей собралось в маленькой зале! Сколько биноклей направлено на высокую, худенькую гимназистку (разумеется, уже окончившую гимназию, так как на курсы принимают только по окончании среднего учебного заведения). Девушка с двумя по-детски спутанными косичками, с помертвевшим от страха лицом, выходит на край сцены, приседает, точно окунается куда-то, и дрожащим неприятно-визгливым голосом начинает выкрикивать монолог Марии из пушкинской «Полтавы», дико вращая глазами и делая отчаянные жесты.

Ой-ой-ой, как плохо! Плохо и смешно. Бедная гимназисточка! И зачем она пришла экзаменоваться? Сомнения нет – ее не примут.

В задних рядах раздаются сдавленные смешки. Там сидят второкурсники и третьекурсники, уже протянувшие ляжку двух лет училищной работы.

– Господи, сохрани меня и помилуй! – слышу я снова позади себя. – Помолитесь за меня, милые коллеги, сейчас моя очередь.

И Маруся Алсуфьева, вся малиновая, поднимается со своего места.

– Мария Алсуфьева! – раздается голос инспектора.

Алсуфьева идет неровной, подпрыгивающей детской походкой на середину сцены. Минута молчания.

– «Стрекоза и Муравей», – раздается звонко на весь театр.

Попрыгунья-стрекоза
Лето красное пропела...

Просто, мило и весело, несмотря на волнение, льется приятный, детски-звонкий голосок Маруси. В зале то и дело звучат сочувственные смешки..

Энергичное «ш-ш» классной дамы заставляет всех смолкнуть. Но через минуту смешки возобновляются.

– Га-га! Хорошо! – вырывается неожиданно басом из «рая», то есть из самых задних мест залы.

Инспектор вскакивает со своего стула и устремляется туда.

– Господа, прошу тише!

В эту минуту входная дверь широко раскрывается. На пороге ее появляется полная, среднего роста фигура в длинном черном сюртуке, с массивной золотой цепью на жилете.

Вижу лицо, которое, встретив однажды, нельзя уже забыть никогда. Широкое, бритое, живущее каждой черточкой, с необыкновенно умными глазами, и в то же время ясными, детскими, и над ними почти белые от седины волосы.

– Это Давыдов, сам Давыдов! – слышу я восторженный шепот среди экзаменующихся.

Да, это был Владимир Николаевич Давыдов, знаменитый артист-художник образцового театра, гордость и слава русской сцены.

Священный трепет проникает в наши сердца.

Холодная как лед рука Ольги стискивает до боли мои пальцы.

– Это ведь наш будущий руководитель, наш маэстро, если только мы попадем на курсы! – лепечет она, и глаза ее делаются зелеными от волнения и восторга, точь-в-точь как тогда, в институтских стенах, в нашем отрочестве. – О, Лидочка, моя милая, как жутко и как хорошо!

– Да! – соглашаюсь я, не переставая смотреть на Давыдова, которого видела в «Свадьбе Кречинского» и в «Горе от ума».

Когда знаменитый артист с улыбкой кивнул нам, как бы желая подбодрить бедняжек экзаменующихся, весь маленький театр точно залило светом его улыбки, точно ярче и наряднее засияло в нем электричество, точно вошла в наш круг сверкающая радость.

За «Стрекозой и муравьем» Алсуфьева прочла необыкновенно комичный отрывок. В «рае» покатывались со смеху, не обращая внимания на призывы к порядку со стороны классной дамы. А в первом ряду снисходительно улыбалось «начальство».

Багрово-красная вернулась Алсуфьева на свое место, дрожавшими руками поправляя выбившиеся из тяжелой косы непокорные русые завитки.

– Ну, что? – обратилась она к нам.

– Хорошо! Великолепно! – вырвалось у нас с Ольгой дуэтом.

После Алсуфьевой потянулась длинная вереница экзаменующихся. Иные читали недурно, другие скверно, иные очень смешно, наивно, а иные и совсем уж нелепо.

Мы с Ольгой внимательно прислушивались к тому, что происходило на сцене, и лишь во время перерыва спешили передать друг другу все то, что произошло с нами за эти два года разлуки. Как странно складывалась наша встреча... Думали ли мы там, на институтской скамье, что сойдемся снова на трудном поприще артистической жизни, о которой мы даже и не мечтали тогда! Ольга шла сюда по призванию, я – тоже. Но цели мы преследовали разные: Ольга решила поступить на сцену, чтобы заработать себе, как говорится, на хлеб; я же была вполне обеспечена, могла жить на средства мужа, отца, но захотела собственным трудом поднять на ноги моего «принца».

– Ольга Елецкая! – раздался вдруг призывающий голос.

– Как! Неужели буква «е» подошла так скоро! – Теперь перед залитой электричеством рампой стояла Ольга. Мне не видно ее лица. Но я напрягаю зрение, чтобы разглядеть экзаменаторов там, за рампой. У Ольги низкий, немного глуховатый голос, но тот подъем, который переживает она, не может не передаться слушателю.

– Чуден Днепр при тихой погоде, когда... – читает Ольга бессмертное произведение Гоголя. И, выражая оттенками своего голоса малейшие перемены могучей и прекрасной реки, Ольга то понижает, то повышает темп декламации. Когда она окончила, шепот одобрения проносился по зале.

Потом она читала стихи модной поэтессы:

Лионель – мой милый брат —
Любит солнечный закат...

«Белый Лотос» остался верен себе. Таинственно-мистическая, мечтательная душа Ольги Елецкой осталась и теперь такою же нежной подругой всего необыкновенного, красиво-таинственного...

Когда она вернулась, я шепнула ей:

– Это было так прекрасно, так прекрасно. Ах, как хорошо ты читала, Ольга! Совсем как настоящая артистка!

– Да?

Больше она ничего не могла сказать и опустилась в изнеможении на стул...

Выходили к рампе всевозможные типы. Выходили и совсем юные мальчики, обладающие петушиными ломающимися голосами, взрослые мужчины, уже игравшие на частных сценах, смелые, самоуверенные, убежденные в своем успехе. Выходили робкие барышни и «положительные» дамы. Красавица-блондинка с лорнетом читала, останавливаясь и заикаясь на каждом слове. Очевидно, она не потрудилась даже, как следует, выучить необходимое для испыта-

ния. Ее оборвали на полустроке и отпустили на место. Потом читал юноша со странным лицом. Читал так, что весь зал слушал, затаив дыхание. Его голос, то бархатистый, то металлический, заполнял собою весь театр, вырывался в коридор, на лестницу. Так дивно хорошо читал этот юноша, рассеянный и скучающий до этой минуты, что после него уже не хотелось слушать длинный ряд бездарностей.

– Знаешь что? Я уйду. После такой читки заявлять какие-либо претензии просто бессмысленно, – сказала я Ольге.

Она взглянула на меня и произнесла так же тихо:

– Нет, нет, Лида! Ни за что! Ты должна остаться... Я убеждена в твоём успехе...

О, милая Ольга, никогда, не забуду я этих слов! Никогда в жизни. Они окрылили меня, вернули мне присутствие духа.

– Александра Орлова.

Мимо нас прошла небольшого роста особа с оригинальным, пепельно-серым цветом волос и с грустно-трагическим выражением лица, скорее мужского, нежели женского типа. Длинный с горбиком нос, большие восточные глаза, крупный рот с тонкими губами и близко сдвинутые темные брови – необычайное лицо.

Она прочла «Мечты королевы» Надсона и кусок прозы. Но каким голосом прочла! Это была целая опера, целое богатство, целое огромное состояние звуков! Ее лица нам не было видно, но все ее существо, начиная с приподнятых узких плеч и серой пышной массы волос и кончая пальцами опущенных, бессильно повисших вдоль тела рук, – все выражало трагизм того, что она читала.

Кто из них был лучше – она или ее предшественник – решить трудно.

– Константин Береговой! Вас уже вызывали раз... теперь вторично, – послышался тотчас по окончании монолога Орловой голос помощника инспектора.

Маленькая фигурка, детская на вид, но с лицом взрослого человека, забавно быстро вылетела вперед.

Какая странная случайность: после необыкновенно прочувствованной трагической читки Орловой пошла какая-то веселая какофония звуков и слов.

Крошечный человечек, носивший фамилию Береговой и прозевавший свою очередь, оказался настоящим комиком. Он читал куплеты Беранже с таким неподражаемым юмором, что весь зал, слушая его, заливался смехом. Классная дама не «шикала» больше, почувствовав всю бесполезность подобного маневра, инспектор не метался между рядами «рая». Это было бы лишним, до тех пор, по крайней мере, пока не закончит свое чтение маленький человек.

Затем снова потянулся целый ряд личностей, не проявивших никакого сценического дарования, судя по их читке. И вдруг точно что-то молотом ударило меня по голове.

– Лидия Чермилова!

Мне показалось в ту минуту, что сцена, подмостки, на которых мы находились, внезапно расплылись во все стороны и приняли вдруг размеры широченной степи. И степь эта поплыла под моими ногами...

– Лидия Чермилова, – слышу я где-то далеко, словно из другого мира отчаянный шепот Ольги:

– Лида! Вороненок! Тебя же! Вставай! Иди! – Встаю и иду, иду, ничего не понимая, и не чувствуя себя, иду туда, к рампе. Раскрываю рот и начинаю:

Старик, я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас...

Это говорит Мцыри, одинокий юноша, сначала питомец грузинского аула, потом послушник-монах, – юный, дикий, угрюмый и смелый, как горный орел.

Лидии Чермиловой нет. Вместо нее Мцыри. В него я перевоплощаюсь, в нем живу. Как жаль только, что голос мой слаб, как у девочки, и что весь мой облик, со светло-русыми, постоянно растрепанными волосами, так мало напоминает того прекрасного юного грузина, исполненного мужества, энергии и красоты...

Зачем, угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах,
Душой дитя, судьбой монах?
Я никому не мог сказать
Священных слов – отец и мать...

Голос мой крепнет понемногу, волнение и страх заменяются сладкою, захватывающе волною. Какой-то быстрый вихрь подхватывает и уносит меня, заставляет забыть про все окружающее...

Окончив чтение отрывка, я делаю паузу и новым голосом начинаю крыловскую басню:

Вороне где-то Бог
Послал кусочек сыра...

И лицо у меня меняется, должно быть, делается лукавым и смешным, как у лисицы... И голос звучит умильно:

Голубушка, как хороша...

Я вскидываю глаза на «маэстро» – он улыбается светло и широко. Это вливает в мою душу новые силы. Заканчиваю под легкие смешки «рая» и иду, пошатываясь, на место.

Глаза Ольги говорят:

«Хорошо! Хорошо! Хорошо!»

Но что скажет конференция – это другое дело...

Еще экзаменующиеся... Стихи, басни, проза... В голове получается настоящая окрошка от всех этих стихов, басен и отрывков. В ушах звенит...

После последней чтицы, хорошенькой маленькой барышни с лицом итальянского мальчика, которую я уже заметила в коридоре, члены конференции поднимаются, как один человек, и исчезают за дверями примыкающей к театру комнаты.

Мгновенно и в зрительном зале, и у нас на сцене поднимается неописуемый шум.

Я, Ольга и примкнувшая к нам Маруся Алсуфьева забиваемся в угол и ждем. Ждем, как приговоренные к смерти, решения нашей судьбы. Теперь уже не до разговоров. За плотно закрытыми дверями решается судьба целой сотни людей. Собравшаяся «публика» тоже ждет вместе с нами участи одиннадцати счастливых и счастливиц, и она как будто заинтересована выбором достойных.

Ах, как долго длится эта ужасная конференция! Меня бросает то в жар, то в холод... Отчаяние теперь прочно завладело мною и крепко держит меня в своих цепких руках. Я уже мысленно решаю, что не буду принята.

Наконец-то распаивается широко на обе половинки желанная дверь. Сердце мое падает куда-то в раскрывшуюся под ним пропасть.

Инспектор драматических курсов быстрою походкою поднимается к нам на сцену с большим листом в руках.

– Господа, – говорит он громко, – из ста человек принято одиннадцать. Остальные не ответили требованиям конференции, да и вакансий нет. Принятые ученицы и ученики драматических курсов, список которых я вам сейчас прочту, благоволят являться на лекции с понедельника в девять часов утра. Тогда им будут розданы правила для учащихся на курсах и расписание лекций. Вот их фамилии. Шесть женщин и пять мужчин...

Что делается со мною в ту минуту, когда Викентий Прокофьевич Пятницкий подносит список к глазам, – описать не решаюсь. Сердце бьет в груди как добрый барабан... Страшный трепет, доходящий до лязганья зубами, до дрожи во всем теле, охватывает меня с головы до ног.

Инспектор читает:

– Мария Алсуфьева.

– Ольга Елецкая.

– Александра Орлова.

– Лидия Чермилова...

«Что! Неужели?»

Кто это крикнул – я или кто-нибудь другой? Ничего не сознаю и не понимаю... Радость, жгучая острая радость, светлую волною поднялась из самых недр моей души и залила все своим горячим потоком.

– Ольга! Какое счастье!

– Лидочка!

Мы бросаемся друг другу в объятия и смеемся.

И все кругом перестает существовать для нас, избранных счастливиц...

Через два дня утром я поднимаюсь по знакомой лестнице на четвертый этаж, вхожу в не менее знакомый коридор и останавливаюсь перед классами.

За стеклянной дверью – первый и второй драматические курсы. У третьекурсников и третьекурсниц нет своего класса. У них уже не читают лекций: все занятия носят практический характер и происходят там внизу, на сцене школьного театра, где мы держали экзамен.

Первое лицо, которое я встречаю, – инспектор. Он слегка кивает мне головою и, – о ужас! – я снова «окунаюсь», как институтка, в невероятном реверансе... Второе лицо – симпатичная толстушка классная дама, так мало подходящая к типу институтских дам.

– Вы Чермилова? – спрашивает она официальным тоном.

«Окунаюсь» и перед нею.

– Да.

Ваши будущие товарищи и товарки уже собрались. Вы немного опоздали. Надо собираться к девяти.

– Ах, простите!..

Краска бросается мне в лицо, я мчусь галопом в дальний конец коридора, распахиваю настежь стеклянную дверь и вылетаю, как пуля, на середину комнаты.

– Здравствуйте. Позвольте представиться. Я – Лидия Чермилова.

Настоящий класс, как и надо было ожидать: и ученические парты, и кафедра, и неизбежная классная доска. Все как в институте.

Ольга Елецкая уже здесь. Она первая подходит ко мне и целует меня тоже по-институтски. Потом со скамейки поднимается та «трагическая» девушка грузинского типа с пепельными волосами, которая так талантливо читала на экзамене.

– Александра Орлова, – низким грудным необычайно красивым голосом называет она себя и жмет крепко мою руку.

– Маруся Алсуфьева. Узнали? – и русокудрая головка с выбившимися прядями и тяжелой косой кивает мне.

Высокая полная шатенка с гладко зачесанными волосами, с капризно вздернутой верхней губой и гордыми карими глазами – настоящий тип русской боярышни, тоже протянула мне руку.

– Лили Тоберг, – тягуче-плавно проговорила она.

Из-за нее выглянула иссиня-черная кудрявая головка итальянского мальчугана.

– Ксения Шепталова, – пропел свирелью тоненький голос.

Девушка была одета нарядно, точно на званый вечер: бархатное платье, широкий брюссельский кружевной воротник – все это резко отличалось от наших скромных костюмов. Масса колец, браслетов украшали ее маленькие руки.

Познакомившись с моими товарками, я перешла к коллегам-однокурсникам.

– Борис Коршунов. – Так мастерски читавший на экзамене высокий юноша, с несколько рассеянным лицом и смелыми глазами, улыбаясь, потряс мою руку.

– Делить нам нечего, стало быть, будем друзьями, – произнес он небрежно.

– Авось не подеремся, потому как у нас разные амплуа, – засмеялся маленький комик Костя Береговой, потешавший два дня тому назад всех почтивших своим присутствием экзамен.

Высокий, оливково-смуглый, с прямыми черными волосами и внешностью индусского факира, Денисов, тоже Борис, обнажив свои ослепительно яркие белые зубы, произнес густым басом:

– Должны почитать и уважать меня пуще всех остальных, барышни, потому как, обладая подобным контрабасом (он любезно-ласково похлопал себя при этом с самодовольным видом по горлу), я буду, несомненно, играть только благородных папаш, а вы – моих дочек.

Я засмеялась и возразила, что я сама мамаша, мать семейства, и не намерена признавать поэтому его авторитета.

Тут подошел высокий белокурый немец с голубыми застенчивыми глазами, Рудольф, и совсем еще молоденький мальчуган, лет семнадцати, но с болезненно землистым цветом лица и беспокойно бегающими глазками, Федор Крымов.

Как только знакомство окончилось, Борис Коршунов взошел на кафедру, постучал о ее верхнюю доску и сказал:

– Милейшие коллеги, я прошу слова! Позволите?

– Получайте, только долго не разговаривайте. Я очень завистлив и чужого успеха не выношу, – пробасил Денисов с комической ужимкой, вызвавшей общий смех.

– Милейшие коллеги! – выдержав паузу, снова заговорил Коршунов, – мы с сегодняшнего дня представляем собою, так сказать, одну дружную семью, соединенную общою целью и общою идеею. А поэтому, коллеги, не найдете ли вы более удобным выбросить из нашего обихода всякие китайские церемонии и относиться друг к другу совершенно по-братски и по-сестрински. Начнем с того, что будем называть по именам сокращенно друг друга. Я бы предложил перейти и на «ты»...

– Это лишнее, – пробасил Денисов, – достаточно и сокращенных имен, а то как начну я кому «ты» валять, так под злую руку его же или ее же и выругаю. А если на «вы» выбраться, как будто, не так обидно...

– Ха-ха-ха! – закатилась звонким колокольчиком Маруся. – Вы, Денисов, правы, лучше будем говорить друг другу «вы».

– Не Денисов, а Боб или Боренька, согласно вашему желанию.

– Слушаю-с, господин Боб.

– Просто Боб.

– Слушаю-с, просто Боб.

Юноша на кафедре снова постучал кулаком о доску.

– Ну-с, вы согласны? Необходимо это решить скорее, так как сейчас, как нам сообщил уважаемый инспектор, начнется первая лекция.

– Согласны! Согласны! – прозвучало веселым хором в классе. Но вот темная, гладко причесанная на пробор голова Виктории Владимировны просунулась в дверь:

– Господа! Нельзя ли потише! Шуметь не полагается.

Следом за этим в класс вошел инспектор с целой пачкой книжек и листов.

– Господа! – произнес он, – я принес вам для раздачи правила для учащихся на драматических курсах и расписание лекций. Сегодня у вас будут следующие занятия: История драмы, Словесность, Закон Божий и Фехтование. Следовательно, три научных лекции и фехтовальный класс. Кроме того, в два часа к вам придет наш высокочтимый Владимир Николаевич Давыдов. Из книжки правил вы узнаете, что требуется от вас на драматических курсах. До преддипломного экзамена вы будете, так сказать, считаться на испытании и только после Рождества вас окончательно признают действительными ученицами и учениками курсов. Тогда вам придется сделать себе форму: для дам синие платья и серебряные значки-лиры, в виде брошей, для мужчин – синие вицмундиры с лирами на воротниках и на фуражках. Менее обеспеченным будут выдаваться пособия, более способные и оказывающие успехи будут освобождены от платы. Итак, позвольте вам пожелать всякого успеха и поздравить с началом учебного года.

Инспектор сошел с кафедры, раздал нам книжки и вышел. На его месте появился высокий плечистый господин с умным лицом и выразительными глазами.

– Магистр Розов, – пронеслось по классу. Мы поклонились ему, привстав со своих мест, и полная тишина воцарилась в комнате.

Магистр Розов сумел сразу во вступительной лекции захватить наше внимание. Он сделал краткий обзор развития театра в глубокой древности, дал общую картину начала празднеств Дионисия в Греции, где поклонение богу виноградных лоз совпадало с самим сбором винограда и представляло собою целое зрелище. Потом перешел к Олимпийским играм и уже упомянул о жанре трагедии, когда неожиданный звонок прервал его.

Розов быстро сошел с кафедры и попросил со следующих лекций по его предмету вести запись того, что он говорит.

После десятиминутного перерыва в класс стремительно вбежал маленький, худенький человек – очень популярный в Петербурге преподаватель словесности Виктор Петрович Горский. Совершенно седой, с длинной, немного всклокоченной бородой, старый годами, но удивительно юный душой, сохранивший весь пыл молодости в любви к искусству. Виктор Петрович «взял» нас сразу этим молодым своим пылом и горячностью, на которую так отзывчива молодежь. Он декламировал стихи, сам увлекаясь, как юноша, и приводил яркие, полные красоты примеры из античного мира. Незаметно переходил он и к эстетике, которая, как это ни странно, входила в курс его лекций.

Затем на кафедру вошел молодой священник в темной шелковой рясе с академическим значком на груди. Историю Церкви я проходила в институте, как и словесность, и историю культуры; тем не менее я поддавалась сразу обаянию мягкого, льющегося в самую душу голоса нашего законоучителя, повествовавшего нам о Византийском мире.

Лекция длилась с полчаса. Потом отец Василий, прервав чтение, живо заинтересовался своей маленькой аудиторией. Он расспрашивал каждого из нас о семье, о частной жизни. Чем-то теплым, родственным и товарищеским повеяло от него. Услышав, что моя соседка справа, Ольга, была вместе со мною в институте, он захотел узнать, как нас там учили по Закону Божьему. Покойного отца Александры Орловой, известного литератора, он, оказывается, знал раньше. Знал и родителей Денисова в Казани.

Со мною отец Василий говорил о моем маленьком сынишке и выразил желание причастить его Святых Таин в нашей театральной домово́й церкви в следующее воскресенье.

Ровно в двенадцать прозвучал звонок, совсем как в средне-учебных заведениях. Виктория Владимировна распахнула дверь нашего класса, и мы гурьбой высыпали в коридор.

– Господа, вы можете распоряжаться своим временем до часа, – обратилась она к нам. – Мужчины могут закусывать в курительной или музыкальной комнатах, дамы – в дамской гостиной. Впрочем, если кто желает, может уйти из училища на час. Но к часу обязательно собраться снова.

– Вот так изумительная несправедливость! – тоненьким фальцетом произнес комик Береговой. – У дам есть своя гостиная, а у нас, злосчастных пасынков судьбы, – для завтраков курильная и музыкальная! Благодарю покорно, вкушать пищу дневную пополам с дымом курительным или под неописуемые рулады какой-то девицы, которая уже завладела музыкальной. Да я подавлюсь куском при таком ненормальном условии жизни.

– Бросьте, старина, идемте лучше завтракать в кофейню Исакова, – предложил Боб Денисов. – Недалеко, да и за два гривенника такие два куса кулебяки откатят, что до вечера не проголодаешься. Гарантирую вполне.

– А мы куда пойдем, Елочка? – осведомляюсь я.

– Я взяла, бутерброды из дому и поделюсь ими с тобой, а чайник можно получить здесь в дамской. И даже девушку-прислугу посылать можно за закуской.

– Ах, я тоже буду приносить бутерброды.

– Прекрасно. Значит, с голоду не умрем.

Все мы шестеро первокурсниц-новеньких входим в дамскую.

Здесь шум стоит невообразимый. Второй и третий курсы в полном сборе. Облепили круглый стол и с хохотом и болтовнею пьют чай, заедая бутербродами. При нашем появлении живо заинтересовываются новенькими.

– Александра Орлова – вы? – обращается к моей однокурснице тоненькая вертлявая брюнетка Комарова с забавными усиками над верхней губой. – Вы произвели потрясающее впечатление на нас вашей четкой на экзамене. Это было что-то удивительное! – говорит она с каким-то странным жестом. – А вы, – обращается она ко мне, – вы были очень милы с вашей басней, но для монологов Мцыри ваш голос слишком высок и слаб.

– А мне понравилось, – услышала я звонкий голос розовой блондинки, похожей на хорошенькую кошечку. – Наташа Перевозова, будем знакомы, – пожимая мою руку, назвалась она.

Старшие два курса потеснились немного и дали нам место вокруг чайного стола.

Но утолить голод нам не пришлось. Слишком много было впечатлений вокруг. Едва только я принялась за мой стакан чая, как быстро распахнулась дверь, и с арией Кармен в таверне влетела высокая, большеглазая, совершенно белокурая, как северная Валькирия, третьекурсница и объявила, что первокурсниц ждет уже в зале учитель фехтования.

Я вместе с Ольгой помчалась туда.

Небольшого роста офицер одного из гвардейских полков ждал. Молоденький, черноглазый подпоручик и его помощник стояли поодаль с тяжелыми рапирами в руках. Оба поздоровались с нами совершенно просто, как со старыми знакомыми.

Учитель-офицер в немногих словах стал объяснять, почему артисткам необходимо уметь фехтовать, какое огромное значение имеют приобретаемые здесь ловкость и красота движений, а затем передал нам рапиры и стал показывать основные приемы.

Как тяжела огромная рапира, которую мне дал его помощник!

Но мои тонкие руки обладают, очевидно, некоторой силой, и первые приемы вышли у меня достаточно удачно. Наши учителя остались довольны мною и Ольгой. Обещают нам несомненный скорый успех в искусстве владеть рапирой и шпагой.

К двум часам мы возвращаемся в дамскую. А четвертью часа позже в коридоре поднимается необычайная суeta.

– Маэстро пришел! – различаю я в общем смутном гуле.

* * *

Как будто день, до сих пор дождливый, проясняется при появлении очень полного человека с полуседой гениальной головой. Приветливая, улыбка играет на тонких губах «маэстро» – как принято на курсах называть Владимира Николаевича Давыдова.

Он стоит подле кафедры, положив на нее руку, и пристально осматривает каждого из нас.

И вот раздается его мягкий голос:

– Садитесь, господа. Прежде чем заняться с вами, я бы хотел узнать, что влечет вас на сцену. Я, конечно, понимаю, что среди вас большинство, если даже не все, надеются на прочный заработок, если есть способности, талант. Это, так сказать, своим чередом. Но я уверен, что не только ради заработка вы выбрали профессию артиста. Ведь вы, наверное могли выбрать другую, более выгодную профессию. Были и есть, очевидно, другие причины, заставившие вас посвятить себя сцене. Вот мне бы и хотелось узнать, что именно привлекло вас сюда. Надеюсь, вы ответите мне откровенно... Вот, вы первая потрудитесь ответить на мой вопрос, – неожиданно быстро обратился он к Марусе Алсуфьевой, усевшейся на первой парте.

Маруся вскочила со скамейки и отчаянно затеребила кончик косы, перекинутой через плечо:

– Я не знаю, право... Это как-то безотчетно вышло... меня с детства влекло на сцену... Мы дома устраивали театры, потом я читала на литературных занятиях в гимназии. Потом участвовала в любительских спектаклях. А сюда я попала как-то неожиданно...

Маруся сбилась и смолкла.

– А вы? – спросил Давыдов Берегового.

– Мой отец был комиком в провинции, и я хочу хоть отчасти продолжать его дело.

Слово за словом полились ответы. Боб Денисов оказался сыном оперного певца. Коршунов происходил из писательской семьи, где собирались художники и артисты, подметившие дарование в мальчике. Федя Крылов, самый юный, промямлил, что в театре весело, а в университете скучно, и что ему все равно, где учиться теперь. Немчик Рудольф поднялся со своего места и, чуть хмуря брови над детски-ясными, застенчивыми глазами, произнес чуть слышно:

– Позвольте мне не ответить на этот вопрос. Это мое частное, личное дело.

Мы ахнули и со страхом взглянули на маэстро. «Дерзость» Рудольфа поразила нас.

Но Владимир Николаевич улыбнулся только мягкой, словно ободряющей улыбкой.

– Вы? – спросил он Орлову.

– Я люблю сцену! Люблю театр! – зазвучал ее красивый голос. – Я оживаю только в театре, только во время пьесы!.. Тогда жизнь, обычная, серая, перестает для меня существовать... Вот почему я решила посвятить себя сцене.

Орлова не dokonчила и устало опустилась на скамью.

– Благодарю вас, – произнес «маэстро» серьезно, и улыбка сбежала с его лица.

Мы невольно повернули головы в сторону Орловой. Ее простые слова обнаружили незаурядную личность, душу, пережившую немало, несмотря на молодые годы.

Ольга Елецкая встрепенулась, когда «маэстро» обратился к ней. И торжественно прозвучали ее слова, хотя она говорила самые обыкновенные вещи.

– Люблю искусство... Видела дивные образы... Наслаждалась несравненной игрой и вот пришла сюда, чтобы играть самой...

Шепталова и Тоберг откровенно заявили, что жизнь барышень из общества с выездами, нарядами и балами скучна и однообразна, и их потянуло туда, где все ярко, живо и прекрасно.

Давыдов ответил так:

– На сцене не все ярко и прекрасно. О, на сцене куда больше колючих терний, чем на ином пути... И ради развлечения сюда приходиться не стой, да и нельзя. В алтарь не вступают со смехом. Где великое служение искусству, там жертвоприношение и только. Да.

Он замолк, и я почувствовала, что Давыдов сейчас обратится ко мне. И, не дожидаясь вопроса, я сказала.

– Я пришла сюда, чтобы научиться искусству, которое я люблю всем сердцем, всем существом моим... Не знаю, что выйдет из меня: актриса или бездарность, но... какая-то огромная сила владеет мною... Что-то поднимает меня от земли и носит вихрем, когда я читаю стихи в лесу, в поле, у озера или просто так, дома... В моих мечтах я создала замок Трумвиль, в котором была я принцессой Брандегильдой, а мой муж рыцарем Трумвилем... А мой маленький принц, мой ребенок...

Я задохнулась на минуту. «Осрамилась! Осрамилась!» – вспыхнули в душе моей огненные слова. Я боялась взглянуть в лицо «маэстро». Что он подумал обо мне, наверное, сумасшедшая, или просто глупая, тщеславная девчонка.

Но, должно быть, он понял меня, потому что сказал:

– Ну, дай Бог!

И тотчас же, переменяя тему, заговорил о великой задаче артиста.

Он развернул нам картину огромного актерского труда, безостановочной работы, тяжелого, подчас непосильного, тернистого пути. «Кто надеется найти здесь, на этом поприще, – говорил он, – одни розы, яркие пестрые цветы, праздник жизни, веселье, радости и целый букет успеха, тот пусть уйдет скорее из нашего храма, пока не поздно еще. Здесь работа колоссальная и труд, порою непосильный для слабодушных. Разгибляйству, лености здесь не место. Отбросить надо все, что не касается служения искусству. Многие легкомысленно идут на сцену только ради славы. Это грех, это преступление, за которое приходится потом платить горьким разочарованием; кто идет на сцену только с мечтой стать „известностью“ – тот обыкновенно печально кончает свою карьеру, не достигнув цели. Искусства ради надо входить в наш храм. А для этого надо понять прежде всего высокую задачу театра. Театр должен оздоравливать толпу. Людям, измученным, больным душою и телом, усталым, истерзанным нуждою, горем, лишениями, он должен дать минуты отдохновения, радости, света. Людям порочным, недобрым – показать все их дурные стороны».

Ах, как он говорил! Мы, затаив дыхание, слушали его. Наши глаза не отрывались от этого полного воодушевления лица. Да, настоящий актер был перед нами, и светом истинного, вдохновенного искусства веяло от его слов!.. Он давно уже закончил свою горячую речь, а мы еще сидели, завороченные. И только когда он вышел, мы очнулись, словно проснулись от сладкого сна.

– Вот это был номер, я вам доложу! – воскликнул Боб Денисов.

– Н-да! Шикарно, что и говорить! – подхватил Береговой.

Коршунов усмехнулся ему одному понятной усмешкой. Глаза Орловой загорелись и осветили теплым, ясным светом ее печальное лицо, отчего оно сразу стало проще, добрее.

Ольга Елецкая шептала в каком-то упоении:

– Я ничего более красивого и вдохновенного не встречала в жизни! Я предлагаю, господа, сегодня же идти в театр. Он играет в «Свадьбе Кречинского». Забросаем его цветами.

– Это невозможно.

– Почему?

Боб Денисов уставился на Елочку испуганными глазами и затвердил растерянно:

– Нельзя этого! Нельзя! Нельзя!

– Но почему же? – повторила она.

Вместо ответа он вывернул с самым серьезным видом карманы и произнес с комической беспомощностью большого ребенка, так мало гармонировавшей с его лицом факира и прямыми, словно высеченными из камня, как на статуях, волосами:

– Нельзя, потому что денежек нет, денежки – ау – плакали. Если будут цветы, не будет обеда. А посему я предпочитаю восторгаться речью «маэстро» без всяких вещественных доказательств. И кто не за меня в данном случае, тот против меня, и того я вынужден считать моим врагом и искусителем.

– Присоединяюсь, коллега, ибо и мои карманы плачут, – заявил Береговой и с комической ужимкой пожал руку Бобу.

– Трогательное объединение! Где двое – там и третий! – И Федя Крылов мальчишеским жестом закинул им на плечи руки и закружил обоих по классу.

– Господа, шутки в сторону. Я хочу говорить серьезно, – сказал Борис Коршунов, – нам необходимо объединиться, собираться друг у друга по очереди всей компанией, читать классические образцы, декламировать, спорить. Кто согласен – подними руку.

Все, разумеется, оказались согласными, и одиннадцать рук взлетели в воздух.

– Ура! Виват! – прокричали юноши, но так несдержанно громко, что классная дама тревожно просунула в дверь свою черную, гладко причесанную на пробор голову.

– Господа, вы свободны и можете расходиться по домам. Завтра к девяти собраться без опозданий. Владимир Николаевич будет ровно в два. И завтра же с ним у вас начнутся правильные занятия. До свидания, я вас больше не задерживаю господа.

– Это очень мило с вашей стороны, Виктория Владимировна.

И «длинный факир», как я по старой институтской привычке давать прозвища уже успела «окрестить» Денисова, сделал такой великолепный поклон, что Маруся Алсуфьева взвизгнула от восторга и все мы покатались со смеха.

В вестибюле мы разбирали верхнюю одежду. У Ольги – стильная шляпа начала прошлого столетия, и вся она, с ее мечтательной внешностью, кажется барышней другого века. Недаром ее называли в институте «Пушкинской Татьяной». Это мнение разделял, очевидно, и Боб Денисов.

«Я вам пишу, чего же боле... Что я могу еще сказать», – запел он высоким голосом, подражая одной из оперных певиц.

– Господин, нельзя ли потише. На улице петь не полагается, – предупреждает его не весть откуда вынырнувший городской, почтительно прикладывая руку к козырьку фуражки.

– Я не господин, а жрец! – впадая мгновенно в мрачную задумчивость, изрекает Боб своим грозным басом.

– Господин Жрец, потише, – покорно соглашается почтенный блюститель порядка, плохо, очевидно, понимая, что означает столь мудреное слово.

– Искусства! Жрец искусства! – завопил на всю улицу Денисов.

– Господин...

Но мы уже далеко...

Какое солнце, какая радость разлита вокруг, несмотря на дождь и осеннюю слякоть! И эту радость посеял в наши души талант человека, умеющего так ясно и по-детски любить искусство, свое призвание.

– У меня есть еще двугривенный. Батя пришлет завтра месячную посылку в размере 15 рублей своему лоботрясу, – говорит Федя Крымов. – Борис, хочешь, пойдем со мною обедать в греческую кухмистерскую? Разгуляемся, так и быть, на все двадцать грошей.

Факир думает с минуту, морща нос, потом изрекает мрачно:

– Я прикладываю свои пятнадцать, и да здравствует лукулловский пир!

На углу кого-то ждет щегольская пролетка.

Шепталова говорит, придерживая рукой свою срывающуюся от ветра огромную, покрытую щегольскими перьями шляпу:

– Mesdamoiselles! Не желает кто-нибудь, я подвезу до Литейной?

Но никто не соглашается. Так весело всей толпой шлепать по лужам под гудящий бас Боба и смешки Кости Берегового.

После минутного колебания в пролетку вскакивает Лили Тоберг.

– Я с вами, Ксения, возьмите меня.

– Светские барышни! – презрительно щурится им вслед Боб, и все его благодушие большого, длинного ребенка исчезает куда-то. – И к чему пошли на сцену, спрашивается?! Сидели бы дома – тепло и не дует. Тут есть нечего, последние гроши за учение внести надо, а они в шелках и в бархатах, на собственных пролетках разъезжают!

– Стыдитесь, Денисов, – неожиданно прервала его Ольга. – Вы не знаете причины, которая привела их сюда.

– А вы не слышали разве, что они отвечали на вопрос «маэстро»? Скучно им, видите ли, оттого и пришли. Кошунство какое!

– Приветствую это признание, потому что оно искреннее, – перебиваю я спорщиков.

– Да! Да! Да! Каждый идет туда, куда его тянет, – неожиданно воодушевляясь, говорит Ольга. – Я строю свои мечты в заоблачных далях; Лида Воронская, Чермилова то есть, живет в мире сказочных грез; Саня Орлова...

– Ой, ой, ой! Боюсь! Не надо мечты и заоблачных грез! – тоненьким фальцетом пищит Костя Береговой и неожиданно попадает в одну из луж, обильно покрывающих главную аллею Екатерининского сквера.

Маруся Алсуфьева хохочет так, что встречающая няня с детьми проворно отскакивает, самым искренним образом приняв ее за сумасшедшую, вырвавшуюся из больницы.

На Невском мы расстаемся. Саня Орлова, в сопровождении Коршунова, Берегового и Рудольфа, идут пешком на Васильевский Остров. С ними до конки на Петербургскую Сторону шагает веселая хохотунья Маруся. На Михайловской улице в другую конку сядет моя Ольга и поедет к Смольному, где ютится у своей одинокой тетки, которая служит в канцелярии богдельни за жалкие гроши. Денисов и Федя Крымов провожают меня до своей кухмистерской. Затем я сворачиваю к себе в Кузнечный, а они идут «насыщаться» копеечным обедом.

На Владимирской улице народу сегодня немного. Осенняя слякоть гонит по домам. Уже начинают падать ранние сентябрьские сумерки, хотя только четыре часа.

Я оглядываюсь, убеждаюсь, что никто меня не видит, и, забыв мгновенно свои почтенные девятнадцать лет, пускаюсь галопом вприпрыжку, чтобы поскорее добежать до дома и увидеть моего маленького принца...

Дома меня ждет остывший суп, засохший антрекот и перестоявшиеся, похожие на черные угольки картофелины, да воркотня Анюты, но все это вздор в сравнении с крошечными ручонками, обвившими мою шею, с милым лепетом моего ненаглядного принца, светлокудрого, из далекого замка Трумвиль...

* * *

Прошел целый месяц со дня моего поступления на драматические курсы. Холодная студеная осень уже вступила в свои права.

Как скоро, однако, пробежало время!

Я стою в начале длинной шеренги из одиннадцати человек напротив зеркала в репетиционном зале. Левая рука моя лежит на барьере, правая плавно поднимается и закругляется над головой.

– Раз-два! Раз-два! Раз-два! – отсчитывает мерным как метроном голосом высокий, стройный господин во фраке, с пепельно седой головой и львиным профилем.

Это наш преподаватель танцев, пластики и мимики Листов.

Сейчас идет класс пластики. Белокурый тапер ударяет по клавишам рояля, и мы переходим на танцкласс. Звуки модного «миньона» оглашают училище. Мой неизменный кавалер по танцам – Вася Рудольф. Неуклюжий и удивительно забавный Федя Крымов танцует с Лили Тоберг. Ловкий, подвижный Костя Береговой танцует с Шепталовой, Боб – с моей Олей, Саня Орлова чередуется с Марусей, так как у них один кавалер на двоих – Борис Коршунов.

Сегодня «маэстро» не придет заниматься с нами; у него генеральная репетиция в театре. Его заменяет маленький старичок с черными гладкими волосами, с кукольным личиком, точно взятым с какой-то старинной гравюры. И волосы, и галстук, и все его тихие размеренные движения – все старинное.

Это – артист Шимаев.

Басни наши мы ему отвечаем, как говорится, спустя рукава, и тотчас же приступаем к расспросам об образцовой сцене, где он служит, и, главным образом, о «маэстро». Наш старичок оживляется неожиданно. В «маэстро», в его гений он верует, как в святыню. Он рассказывает о нем с увлечением взрослого ребенка.

В четыре часа выходим из училища. Шепталова уезжает с Лили Тоберг. Они подружилась, а мы, «демократы», по прозвищу, данному нам Бобом, энергично шлепаем по способу пешего хождения. По пути улавливаемся вечером прийти в театр. Нам, «курсовым», полагается даровая ложа, иногда две или три на каждое представление. Весь этот месяц мы широко пользовались этим правом смотреть пьесы на лучшей из русских сцен. Мы наслаждались несравненной игрою нашего «маэстро», а еще образцового комика – Варламова, знаменитой Савиной, Стрельской и Комиссаржевской.

В тот вечер как раз шла пьеса, в которой знаменитая артистка Вера Федоровна Комиссаржевская выступала в роли девочки-подростка в одной из пьес немецкого классического репертуара.

Наскоро пообедав подгоревшей котлетой и выслушав неминуемую воркотню Анюты, «где это видано и где это слыхано, чтобы до пяти часов голодом морили, на одном фриштыке сухом», да повозившись с моим маленьким принцем и сделав ему ванночку, бегу в театр.

Наши все уже в сборе, кроме Ксении и Лели, которые в этот вечер поехали в оперу. В ложе, где полагается быть всего шестерым, нас набирается девятеро, и мы жужжим, как пчелы. Из соседних лож подозрительно поглядывают на нас, потому что Боб Денисов при помощи бинокля, взятого им у Оли, показывает удивительные фокусы. Он глотает бинокль и потом неожиданно находит его за обшлагом Феди Крымова, и все это со своей абсолютно спокойной физиономией факира.

Лавры его успеха не дают покоя Косте Береговому. Тот тоже старается придумать что-нибудь такое, чтобы нас рассмешить.

Борис Коршунов неожиданно выпаливает со своим рассеянно-мечтательным видом:

– А у меня в боковом кармане пальто имеется шоколад. Целая коробка!

– Что же вы этого раньше не сказали, коллега? Это уже не по-товарищески, Боря! – и Маруся Алсуфьева укоризненно качает головой.

– Нехорошо! – соглашается с нею Саня Орлова.

– Господа! Я советую наказать коллегу за укрывательство и, лишив его конфет, разыграть их немедленно, предлагает Федя Крымов.

– Чужая собственность должна быть неприкосновенна, – изрекает мрачным басом факир и, перешагнув своими журавлиными ногами через кресло, выходит из ложи.

– Куда вы, Боб? Куда вы? – интересуемся мы.

– Туда! – жестом указывает он вдаль и уже на пороге прибавляет, соорудив забавную мину: – за Борисовым шоколадом, конечно. Как вы недогадливы, лорды и джентльмены, и вы, милейшие миледи, и мисс тоже.

– Вот вам и неприкосновенная чужая собственность! – возмущается Костя. – Хорошо еще, если он принесет коробку сюда в завязанном виде... Знаете ли, господа, я пойду и понаблюдаю за ним; послужу, так сказать, сдерживающим началом.

– Ха-ха-ха! – залилась Маруся. – Ну, дети мои, теперь уже решено: мы не увидим конфет как своих ушей.

Но, к счастью, она ошибается. Ровно за минуту до поднятия занавеса они появляются в ложе, с самым серьезным видом держа коробку за оба конца.

В соседней ложе какие-то незнакомые барышни смеются. Длинный с журавлиными ногами Боб и маленький Костя, действительно, забавны, когда они рядом.

Сане Орловой, как самой тихой из нас, разрешается развязать коробку. Но оркестр как раз в эту минуту заканчивает играть, и занавес взвизгивает.

Как бесподобна Комиссаржевская на сцене! Полная иллюзия милого пятнадцатилетнего подростка! Так хороша, естественна ее игра! Да и полно – игра ли это? Знаменитая артистка живет, горит, пылает на сцене, передавая с мастерством настоящие страдания, настоящую жизнь. И этот голос, который никогда не забудется теми, кто его слышал хоть раз в своей жизни. И эта несравненная мимика очаровательного детского личика, эти глаза, лучистые и глубокие, как океан безбрежный!..

Сидим, затаив дыхание, впитывая в себя каждый звук ее чарующего, ни с чем не сравнимого голоса, ловя каждое ее движение, каждый ее взгляд.

И когда с легким шуршанием занавес опускается, мы продолжаем сидеть, как замороженные, боясь нарушить жестом или словом тишину очарования, охватившего нас.

Только звуки оркестра, раздавшегося в антракте, приводят нас немного в себя.

– А что же конфеты? – оживает первый Боб Денисов. – Лорды и джентльмены, прошу не стесняться, хотя шоколад, признаться, чужой. Но я ничего не слышу и не вижу, на все заранее закрываю уши и глаза...

Но не встретив одобрения с нашей стороны, на этот раз он умолкает.

Наше очарование длится... Маленькая женщина с гениальной душой заполнила нас всех своей дивной игрою. Я чувствую, что и Ольга, и Саня Орлова, и Коршунов тоже сейчас, как и я, далеки от земли.

– Да, я понимаю, что можно умереть от счастья, видя такое исполнение! – роняет нервно Борис Коршунов.

– Такую жизнь! – поправляет Саня.

– Светлое, радостное, прекрасное существо! В каких голубых садах обитает ее гений? – шепчет Елочка.

– Ой-ой! Не надо, Олечка, не надо таких сногсшибательных выражений, – с комическим ужасом подхватывает Береговой. – Я насчет декадентства ничего не понимаю. Лучше скушайте шоколаденку, с разрешения хозяина коробки.

– Коробка! Шоколад! Что за пошлость после этой музыки театра! – произнес Коршунов, все еще продолжая смотреть на сцену зачарованным взглядом.

В коробке осталось лишь несколько штук на доньшке. Мы уничтожаем шоколад с аппетитом, какой дай Бог иметь всякому.

Боб ставит коробку на барьер перед собою и строго контролирует каждого, кто протягивает к ней руку.

– Попрошу не брать ликерной бутылочки, она моя, – заявляет он серьезным тоном.

– А вот, представь себе, что именно на нее у меня и разыгрался аппетит, – говорит Федя и тянется за коробкой.

Боб демонстративно отодвигает ее подальше. Федя настаивает. Соседки по ложе, смешливые барышни, с любопытством следят за этой игрой.

– Хочу цоколадную бутильку! – тоном избалованного ребенка тянет Федя и стремительно хватает коробку. И – о, ужас! – мы не успеваем опомниться, как вся она с оставшимися конфетами, перекувыркиваясь, как птица, летит в партер. Шоколадинки выпадают из нее и темными градинами устремляются туда же.

В партере переполох... Чей-то истерический смешок, затем негодующий возглас сердитого старичка во фраке, нервно потирающего свою глянцеви́то блестящую, без признака волос, голову.

Мы замираем от неожиданности и страха и смотрим вниз прямо на лысину старичка и на нервно мечущуюся близ него в своем кресле даму.

– Увы! Они были с ликером! – трагически шепчет Боб и лезет под стул от охватившего его гомерического смеха.

Тот же неудержимый прилив хохота захватывает и нас.

– Они были с ликером!.. – шепчет Маруся, вся содрогаясь от хохота, багровая, как свекла. Рассерженный и гневный влетает к нам театральный чиновник.

– Господа! Как можно?! Этому нет названия! Это безобразие! Ведь вы не дети!

– Нечаянно... Мы это нечаянно, – находит, наконец, силы выдавить из себя Федя Крымов, с налившимися от тщетного усилия удержать смех жилками на лбу, но, не выдержав, фыркает и заливается снова.

Капельдинер с тряпкой бежит в партер. Оркестр заканчивает свой номер, и снова забывается все, весь мир с его большими и мелкими событиями, и чудное обаяние талантливой артистки захватывает наши души и уносит их в заоблачную даль.

ГЛАВА 3

Передо мною лежит письмо из далекой Сибири. Письмо от «рыцаря Трумвиля» к его «маленькой Брундегильде» и крошечному «принцу». Такое славное, ласковое, родное письмо!

Но оно не может развеять печальных мыслей. У маленького принца режутся первые зубки, и он не спит третью ночь. Не спят с ним и его юная мать, и кормилица Саша.

Бывают случаи, что дети умирают от первых зубов. Эта мысль гнетет меня.

Сегодня праздник, одно из декабрьских воскресений. Скоро предрождественский экзамен, и на душе у меня так бесконечно тяжело.

Совсем изморившаяся Саша спит как убитая. В моей комнате сидят Оля, Маруся Алсуфьева, Рудольф и Боб.

Оля ночует у меня сегодня, помогает ухаживать за моим Юриком. Маруся Алсуфьева, подвязав передник, помогает Анюте стряпать обед, потому что та заявила самым решительным образом, что не успеет наготовить на такую большую «кумпанию».

Боб переписывает с моих тетрадей лекции, прикусив кончик языка и усиленно дыша от «напряжения непосильных трудов», как он выражается, а нежный, голубоглазый Рудольф забавляет маленького принца. Он то делает ему «козу», то изображает «сороку-ворону», то вертит погремушки перед его глазенками.

Откуда такие неожиданные способности у этого всегда серьезного, сдержанного и застенчивого Васи, неизвестно.

Мы, как и предполагали раньше, собирались теперь еженедельно по вечерам друг у друга. Сегодня была очередь Ольги принимать у себя. Но милая девушка не хотела звать к себе гостей без меня. А я не в силах была оставить маленького принца.

– Надо было бы, собственно говоря, позвать доктора, – изрек неожиданно Боб и с размаху наградил исполинской кляксой совершенно чистую страницу.

– Ее лекции! Лидины лекции! Вы измазали их, несчастный! – восклицает Маруся.

– Что за ужас, подумаешь! И что такое лекция перед вопросом – позвать доктора или не позвать, когда у мальчика режутся зубки?! И вы не вздумайте меня, пожалуйста, прибить Маруся, потому что я этого не потерплю и буду кричать на весь дом.

Позвать доктора? Гм! Не могу же я сказать им, что все имевшиеся в доме деньги я еще неделю тому назад отдала за право посещать лекции на драматических курсах. Теперь хозяйственные расходы у нас делаются из тех сумм, которые я выручаю из заклада той или другой вещи моего недавно еще такого нарядного гардероба. Мой отец, правда, присылает мне деньги каждый месяц, но мне их не хватает. А от помощи мужа я отказалась. Ему там, в холодной стране, так понадобится его скромное жалованье. Приходится сводить кое-как концы с концами. Приданое серебро уже заложено и мои серьги тоже... А расходы не уменьшаются, жизнь, оказывается, так дорога.

Я откровенно заявляю, что у меня в доме «ни гроша» и что... ломбард закрыт. По воскресеньям он всегда бывает закрыт.

– Глупое, в сущности, правило, – вставляет Боб, захлопывая тетради, и с самым энергичным видом подступает ко мне. – А как у нас насчет татар, коллега?

– Каких татар? – недоумеваю я.

– Ах! Лорды и джентльмены, ничего она не понимает, я вижу, эта миледи! Я говорю, конечно, не о татарском иге и нашествии Батыя, а о тех мирных халатниках-татарах, которые ходят к нам на дворы для покупки разного хлама.

– Ага! – начинаю я понимать. – Отлично, милый Боб, отлично! Зовите татарина: у меня, к счастью, есть, что продать.

Последних моих слов он не слышит, потому что журавлиные ноги уже выносят его на улицу.

– Князь! Князь! – слышим мы спустя минуту его голос во дворе.

Я при помощи Оли, Маруси и Васи Рудольфа вытаскиваю сундук с моим гардеробом и начинаю энергично рыться в нем. Маленький принц, лежа с поднятыми под одеяльцем ножонками поперек широкой оттоманки, следит за нами блестящими глазками. Ему, очевидно, нравится вся эта суета.

Бархатное платье... Шелковый капот... Белое средневековое одеянье Брундегильды... Еще бальное... Еще визитное... и чудесная на белом ангорском меху ротонда – все это вмиг покрывает стол, стулья, диван и кресла моей маленькой квартиры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.